

I

В московском переулке, под названием Переходный, что на окраине города, дом № 8 внешне не занимал особого положения. Дом как дом, деревянный, старый, трехэтажный, с зеленым двориком, с пристройками и многочисленными жильцами. Рядом ютились другие дома и домишки, образуя как бы единое сообщество. Но народец в доме 8 подобрался — волею судеб — весьма и весьма своеобразный...

Люда Парфенова, молодая женщина лет тридцати, много и странно кочевавшая на этом свете, переехала в дом № 8 относительно недавно. Жила она здесь в маленькой двухкомнатной квартирке одна.

История ее была такова.

Постоянно ее преследовали люди, охваченные необычной жадой жить, жить вопреки факту и вопреки самой природе. Еще в детстве ее любимый мальчик сошел с ума от этой идеи; глаза его надломились от какой-то бешеной жадности жизни в самой себе. Так что Люда без дрожи губ не могла на него смотреть. А потом мальчик пропал навсегда.

С любовью у Люды — вначале — тоже были странности. О любви она впервые узнала — еще девочкой, в детстве, — подсмотрев соитие умирающих, затаенно, через окно низенького соседнего дома. Хозяин там был тяжело болен, недалек от смерти, но, несмотря на это, приводил к себе — для страстей — такую

же больную, обреченную, с которой познакомился в очереди у врача.

Люда, согнувшись от ужаса и жалости, смотрела тогда на их трепет и подслушивала так не раз, потому что приковал ее не только трепет, но и слова, и еще некий ласково-смердный полуад, растворенный в их комнате. Особенно неистовал соседущка — пожилой уже в сущности человек — и плакал от оргазма, а потом визжал, что не хочет умирать.

Видела Люда не раз, как он сперму свою клал себе в чай, чтобы выпить «бессмертие». А женщина тоже плакала и отвращала его от этого, но сама тоже хотела жить и цеплялась руками во время соития за кровать. И дышала так судорожно, что, казалось, готова была сама наполниться воздухом, чтобы стать им, этим воздухом, таким живым и неуловимым... растворенным везде... нежным и вездесущим... Но это плохо ей удавалось, и капли липкого смертного пота стекали с ее лица, и она гладила свои уходящие руки, плотские руки, которые никак не могли стать воздушными, недоступными для смерти. И тогда она хохотала и плакала, и опять целовала мужчину, и они, слившись, в предсмертной судороге, выли и стонали, и их некрасивые, тронутые разложением тела выделялись в полумраке комнаты. И Люда видела все это, и понимала...

Она почему-то не считала тогда саму себя бессмертной, как многие полагают в ее невинном возрасте, может быть, потому, что сама много болела. И поэтому такие сцены выворачивали ее душу, и она бесилась, и с детства (топнув ножкой) часто думала о том, есть ли на свете способы стать бессмертной. Но умирающих этих любовников полюбила болезненно, не по-детски, и дарила им игрушки, приносила картошку после их соитий, и поразилась, когда однажды узнала, что женщина померла. И мужчина-сосед выл по своей сосмертнице, но потом, говорят, нашел другую умирающую, но не успел насладиться, так как сам

скоро умер. И вид его после смерти — Людонька подсмотрела — был ненормален: он чуть не хватал себя за голову, точно хотел унести ее от могилы. Какой-то карапуз плюнул ему в гроб от этого неудовольствия.

Потом, повзрослев, Люда решила бороться. Но как? За тенью всех событий ее жизни ей все время попадались эти люди, объятые патологической жаждой бытия. Она их сразу могла отличить от других по ряду признаков. Это, конечно, не были «жизнелюбцы» (в обычном понимании этого слова), т. е., которые бегали за карьерой, за продуктами, волновались, кричали, ездили, уезжали, опять приезжали, дрались, добивались, а реальная жизнь, т. е. их самобытие, проходили мимо них. Нет, Люда встречалась не с такими, а с теми, кто знал настоящую цену жизни, с теми, кто был погружен в реальную жизнь, а не в погоню за призраками...

И эта реальная жизнь — было их собственное самобытие, которое они умели постигать и разгадывать, которым они умели жить, наслаждаясь жизнью в самих себе ежеминутно, ежечасно, независимо от того, чем им приходилось заниматься в повседневной жизни, независимо вообще от развлечений, работы, дел...

Люда различала «их» даже по движениям, по дрожи голоса, по особенной осторожности, по глазам. И любила втайне общаться с ними, развивая в себе эту способность жить сама собой, жить самой жизнью во всей ее бездне, в ее бесконечных измерениях и удивительных открытиях. И тогда ей ничего особенного не надо было от жизни, ибо все основное скрывалось в ней самой, а все остальное было приложением, которое можно иметь, а можно и не иметь, — самое главное наслаждение, и смысл, и радость от этого не менялись...

Особенно сдружилась она с одной полустарушонкой — очень бедной, почти нищей, но погруженной в свое самобытие. Ее маленькая комнатка превратилась прямо в раек для нее — без всякого сумасшествия.

Собственно, в Люде самой все это было заложено (в более глубинной степени), и тянулась она поэтому фактически к себе подобным. Порой она познавала свое бытие и жизнь — так полноценно, так безмерно, что только дух захватывало от блаженного ужаса, и бесконечность свою воспринимала так, что с ума можно было сойти, хотя никакого ума уже не нужно было при такой нездешней жизни. И главное ведь заключалось не в «наслаждении» (хотя «наслаждение» входило как элемент), а в другом, в том, что было центральной всего на свете: в ее бытии, познаваемом каждую минуту, бездонном и страшном, заслоняющем весь мир.

Люда чувствовала, как невероятно можно было бы так жить (особенно если развить «способности»), но кое-что в миру все же явно отвлекало и пугало ее и действовало на нервы...

II

Один из таких тяжелых случаев, «подействовавших на нервы», был связан с ее двоюродным братом, к которому она одно время очень привязалась.

Про человека этого не раз говорили, что он упал с луны. Но в то же время он очень хотел жить, хотя и по-своему. Впрочем, было такое ощущение, по крайней мере в его школьные годы, что он вообще не понимал, куда он попал и что с ним творится. Не раз он задавал, например, сам себе вопросы: почему у него нога, и почему рука, и вообще в те годы он с крайним недоумением относился к собственному телу и, казалось, был ошарашен от его существования.

Люда тогда порой успокаивала его, поглаживая по головке, когда он мечтал на диване. Успокаивала в том смысле, что-де не все еще потеряно и что вот так жить, с телом, еще далеко не самое худшее, что может произойти. Леня — так звали братца — не раз подбадривался при таких словцах сестры, и

кричал потом по ночам, что он-де вообще ничего не боится.

Люда, пытаясь его настроить еще более глубоко, на внутреннюю жизнь, твердила не раз за чаем, что ей наплевать на весь мир и что ей все равно, есть ли у нее тело или его нет, лишь бы было самобытие, и что тело свое она ощущает не как тело, а просто как свое бытие.

Леня не понимал ее слов, и тогда она, чувствуя безнадежность, переводила разговор на политику или на конец света. Но Леня плохо чувствовал, что свет вообще существует, и потому к концу того, чего нет, относился со здравым удивлением. Только в ответ разводил руками.

Но годам к 23 в нем вдруг произошел неожиданный переворот. Он неожиданно определился, понял, что он не где-нибудь, а на месте, и почувствовал в себе какой-то таинственный, потенциальный талант. Ему вдруг еще бешеной захотелось жить и проявлять себя до бесконечности.

Люда способствовала ему в этом начинании. Правда, талант его был в каком-то странном состоянии, но он явным образом был гуманитарного характера, причем в разнообразном направлении: Леня писал статьи, рисовал. Он чувствовал, что сможет утвердиться...

Параллельно крепло и желание жить. В этот период Люда немного отошла от него, тем более у нее завелся мучительный роман с молодым человеком, наполовину обалдевшим от нее. Он, в сущности, ничего не понимал в ней, но именно поэтому привязался к Люде, как к загадке.

Люда к тому же считала, что он сможет разгадать ее или приблизиться к ней духовно только будучи в огненно-нетрезвом виде, и поэтому нещадно поила его. Кирилл — так звали полюбовника — действительно в нетрезвом виде прямо-таки озарялся и где-то искал пути к пониманию Люды.

— Я в тебе вот что не пойму, Люд, — твердил он ей однажды после бутылки кореандровой водки, выпитой где-то в закутке. — Почему ты смерть любишь?

— Да откуда ты взял, что я смерть люблю? — ответила тогда Люда и выпила свою стопочку, стоявшую на земле.

— Да потому, что в глазах твоих это вижу. Я, Люд, в то, что ты мне объясняешь, все равно не войду, не моего это ума дела. Я, когда ты говоришь, в глаза твои гляжу — и вижу там смерть.

— Хорошо, хоть что-то видишь, Кирюшенька. Но почему смерть? Не в ту сторону глаз глядишь, мой милый...

— В другую сторону я и не заглядываю. Хватит с меня и одной стороны твоих глаз. Я тебя, Люда, очень люблю и на том свете буду любить еще больше...

Уже подумывали они о браке, о ранней семье, как вдруг Кирюшка, неожиданно для самого себя, сбежал. Испугался, одним словом, ее, Люды, или, может быть, ее глаз. Люда недолго горевала, точнее — не горевала вообще. И опять положила глаз на своего брата. К этому времени брат уже окончательно заважничал, словно абсолютно понял, где, в каком миру он теперь живет и что он далеко не последнее существо здесь. Стал даже петь по ночам песни, правда не в меру веселые. Один из соседей по коммунальной квартире — лохматое, неповоротливое, гетеросексуальное создание, звали его Гришею — не раз повторял, что, если б Леня пел грустные песни по ночам, все было бы нормально и он бы засыпал, а что-де от веселых песен у него, у Гриши, шалят нервы.

— Какое сейчас веселье на земле! — кричал он в коридоре. — Тоска одна теперь от веселья-то!

Но Леню теперь уже почти не покидало это веселье, точно он летел навстречу своему таланту и буду-

щему. Талант действительно из него выпирал, и он становился в меру известным...

А Люде было приятно общаться с будущей знаменитостью.

И вдруг все рухнуло, особенно веселие. Брату объявили, что у него запущенный рак, о котором он и не подозревал, и что он, такой молодой, скоро умрет, умрет через полгода, самое большее. Последнее, главным образом, и не удалось скрыть.

Люду перекосило от ужаса. Прежде всего Леня был ее брат, хоть и двоюродный, и поэтому она почувствовала в первый момент, что эта будущая смерть имеет к ней самое прямое отношение. Она почти забросила свой институт, и в то же время никак не могла понять, что это значило бы для нее: стать мертвой или умереть. Она никак не могла связать это событие с собой, настолько оно казалось ей абсурдным. И к Лене стала относиться с любопытством, как к своему непонятному будущему. И в то же время страстно жалела его... Ей казалось, что его надо во что бы то ни стало в чем-то убедить логически, и тогда найдется здравый выход, потому что в мистический выход Леня все равно не поверит, думала она на подходе к его дому, нервничая, потому что это было первое посещение брата после такого известия.

Она юркнула в широкую пасть парадного входа, проскочила в лифт и с дрожью поднялась на шестой этаж — с дрожью, потому что лифт олицетворял для нее капкан, падение с высоты и смерть. Позвонила положенные три раза. Открыл другой сосед брата, толстун, и провел ее к Леониду, захлопнув дверь. Леня стоял посреди комнаты, в руках у него была нитка с нацепленной бумажкой, которой он забавлял огромного серого кота, играя с ним. Кот подпрыгивал и бил лапой по бумажке.

— Как дела? — неожиданно спросила Люда.

Леонид ничего не ответил, продолжая забавляться с котом.

— Ты непременно излечишься, непременно! — почти закричала Люда. — Такие, как ты, не умирают! Так рано!

Леонид захохотал, но хохот этот относился к коту: кот неудачливо перевернулся, гоняясь за бумажкой.

— Что тебе надо от меня? — спросил он наконец, остановив игру. — Видишь, я играю с котом. Кот этот сумасшедший, и говорят, что он тоже скоро умрет. Да и вообще коты не долго живут: всего 10–12 лет, чуть-чуть больше иногда.

Люда остолбенела. Но взгляд Леонида был здоровым, хоть и таинственно-холодным. Люде почему-то показалось, что он уже умер и в то же время, мертвый, играет с котом.

— Игрун, — мелькнуло в ее голове.

И стало почему-то жалко собственное тело, которое было таким сладким и мягким.

— Это конец, — подумала она во второй раз.

Леня тем временем показал коту язык. Кот расщипал и сильно ударил его лапой по ноге.

Люда вскрикнула. Тогда наконец Леонид обратил на нее внимание, не теряя, однако, контакта с котом, искоса поглядывая на него, то показывая ему язык, то подмигивая ему.

Кот напряженно сидел на полу.

— Приготовить чай, Люда? — озабоченно и даже участливо спросил он.

— С вином, с вином, Леня, — истерично ответила ему Люда. — С вином.

— У меня нет вина, — сухо ответил он. — Но есть водка. А вот чай будет.

— Пусть будет, что будет, — раздраженно ответила Люда.

И Леня вышел на кухню.

Кот сидел на полу, не меняя позы.

— Только бы он не погнался за Леонидом, — подумала Люда. — А мне надо смириться.

Леня быстро принес чай: он приготовил его заранее, кому — неизвестно.

Люда послушно вынула из буфета пирог, печенье, сладости, конфеты и варенье. Всего было очень много.

Разложила на подвижном столике. Чай оказался на редкость вкусным, точно он был для живых. Леня молчал, а потом вдруг заговорил о захоронении кота.

— Ты знаешь, его негде хоронить, — жалобно и даже просительно заключил он.

— Но ведь объект еще не умер! — вскричала Люда, посмотрев на неподвижного кота.

— Не все ли равно, когда он умрет, — усмехнулся в ответ Леонид. — И я решил захоронить его в стене собственной комнаты, в той, что рядом с моей кроватью, — и он показал рукой. — Смотри. Вот в том месте, я его замурую и схороню. Мы с ним не расстанемся. Ты согласна?!

— Боюсь, — выдавила Люда.

— А ты не бойся. Ну что страшного в замурованном коте?

— А тебе не страшно сейчас?

— Я буду с ним жить, когда он будет замурован. Это так приятно, когда кто-то находится у тебя в стене.

— Хорошо, что от тебя не скрыли диагноз.

Леня даже привстал от удивления.

— Диагноз, диагноз, ну и черт с ним, с моим диагнозом! — проговорил он, двигаясь по комнате. — Я хочу замуровать собственного кота. После смерти не моей, а его. Безболезненно. Неужели я не имею на это право? Или я кто, по-твоему, у Бога? Вошь, тля, небытие, что ли?

И он злобно посмотрел на Люду.

— О каком небытии может идти речь, — заговорила Люда, внутренне подчиняясь ему. — Особенно после смерти. Какое может быть небытие после смерти?! Даже у замурованного кота?! Что мы, не боги что ли?